

М

арево стояло над степью — зной, пропитанный гарью. И даже когда июльский день перевалил далеко за вторую свою половину, и даже когда небо смешалось с чающимися дымами и комьями разворочанной взрыва-ми земли, свежее не стало. Ярро-оранже-ый глаз солнца пробивался сквозь все и вся и палил, словно хотел сжечь то, что и без того горело. А ведь где-то за спиной тихий и прохладный Дон...

Старший политрук Пустельга соби-рался с мыслями. Не так много у него было времени до следующей и последней, как он понимал, вражеской атаки. Вот-вот нач-нут утюжить с диким воем «юнкеры»-пе-вуны-лаптежники, потом минометы, а по-том поползут на остатки полка танки и пехота. И их будет много, а в окопах у него по последней перекличке сорок человек, да на них два командира — он да взводный лейтенант Белозерцев на правом фланге. И два противотанковых ружья по семь пат-ронов на каждое... И приказ — стоять на смерть. Сколько таких приказов за после-дний год получил Пустельга, он даже не считал. Но выполнил все. Выполнит и этот. Пусть и последний...

Там за спиной Дон, Сталинград, нефть... Но надо что-то сказать бойцам. И душой политрук чует и глазами видит: никакого тебе марксизма, никаких пар-

тийных выкладок, ничего о светлом будущем... Ничего, что он привык говорить. И даже не знает, с чего начать. И пришло в голову то единственно верное, то единокровное, еще суворовское и крикнулось:

— Братцы!!!

И десятки усталых, закопченных лиц повернулись к старшему политруку Пустельге. Не было в их глазах восторга, не было веры и надежды, но была смертельная решимость. И врать им не имело смысла...

— Сейчас они снова пойдут!.. — баритон Пустельги летел вдоль окопа. — И... Наверное... Да почти точно — мы все тут поляжем, но отходить нельзя. Там, — он махнул рукой в сторону Дона, — еще не готова линия обороны, где их точно остановят. Там — точно. Но нам надо остановить их здесь. Так уж сошлось!.. Победа, она ведь откуда берется? Она от того, что кто-то где-то встанет на смерть и не отступит, не взирая ни на что! Да что я вам говорю, вы и сами все знаете. Предки наши костями ложились, а сегодня наша очередь. — Политрук сбавил и уже тише сказал: — Если кому-то совсем невмоготу, могу отправить в тыл с сообщением, последним сообщением... Одного... — он с надеждой посмотрел на самого младшего в строю — тщедушного и малорослого рядового Бориса Соловьева, которому и восемнадцати еще не было.

Но Соловьев только осмотрелся по сторонам: на кого смотрит политрук? Ну не на него же! Не понял боец... Или не захотел понять. Только теснее прижался к старшине Рябову, суровому дядьке, который и Халхин-Гол прошел и финскую. И пользовался в полку непререкаемым авторитетом, а также был специалистом по выживанию в любых условиях. Чуть поодаль сидели татарин Газитуллин и узбек Абдураимов. Всегда спокойные и выдержанные. На весь окоп, кроме самого политрука, осталось только два коммуниста — Иванов и Петров. Заводчане с Урала. Эти не подведут. Ах да... лейтенант Белозерцев просил принять его в партию... Где он там? Не видно...

— Может, кто-то хочет тоже сказать?! — обратился политрук к тем, чьих глаз не видел. — Есть у кого?!

— Есть, — пробасил совсем рядом Рябов. — Ты прости, товарищ старший политрук, но я вот, что считаю... Братцы, кто помнит, подхватывай!

И вдруг Рябов басом своим, который в этот момент показался Пустельге целым церковным хором, нараспев заговорил молитву.

— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад спешаго и попавшаго силу диаволу и даровавшего нам Тебе, Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Деву Богородицею и со всеми святыми во веки веков. Аминь!

— Аминь! — прям-таки грянуло в ответ со всех сторон.

Знал политрук, что Рябов из семьи священников, но не думал, что это в нем так глубоко, перечить же не стал. Рябов, если было надо, поднимался в атаку вместе с ним в числе первых «за Родину», «за Сталина» и, что называется, под руководством партии большевиков. Да и увидел, что крестились во время молитвы почти все... Да все, пожалуй, за исключением коммунистов Иванова и Петрова, а также Гизатуллина и Абдураимова, имеющих, скорее всего, отношение к другой религии. Но и те уважительно стянули с голов каски.

Да ежели б к житью, то и сам политрук перекрестился бы обеими руками! Помоги, Господи...

«Певуны» что-то задерживались. Не пунктуально. Не по-немецки. Видать, и у них бывает. И нельзя было допускать давящей тишины, порождающей одиночество, а в нем-то и прячется смертельная тоска. Уж если помирать, так с музыкой! С музыкой?

— Братцы! А ну-ка давайте встретим врага песней! Как деды и прадеды наши встречали!

И запел первое, что и полагалось, по мнению политрука: «Это есть наш последний и решительный бой...» Вроде как и к месту, да вот не подхватил никто. Более того, смотрели на Пустельгу с пониманием, но той печальной смертной тоской, замешенной на отчаянной решимости, с какой умеют смотреть только русские воины, у которых за спиной одна шестая часть света, а отступать все равно некуда.

Пустельга смутился, стих, опустил голову на колени, потому как встать в окопе он не мог. Сек по верхам снайпер. Вот и фуражку его насквозь продырявил.

Старший политрук посмотрел на дырку в этой фуражке, смял ее в сердцах, замахнул рукой, дабы откинуть черный чуб со лба, да вспомнил, что острижен коротко, рука так и замерла у лица... Зато вспомнилось, зато само из сердца полилось, и Пустельга затянул... И баритон его разлился над дымящей степью под самый круг закатного солнца, откуда должен был прийти враг.

Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ох, да во сне привиделось...

На втором «мне малым-мало спалось» песню подхватил Рябов, а сверху неуверенно, но точно лег тенор Борьки Соловьева. А на повтор пели уже все, пели так, как ни один казачий хор в жизни не пел! И Гизатуллин и Абдураимов пели, хоть и без слов, на «а-а-а-а», вливая в общий строй переливы и коленца восточных нот, но пели. А вот Пустельга вдруг от такого воодушевления голос чуть не потерял, потому как слезы подступили к глазам, и комок в горле никак не проглатывался. Ему вдруг захотелось обнять каждого бойца, всех, пока они еще живые.

Не знал Пустельга историю той народной песни, что еще до немецкой пули так больно выстрелила в его сердце. Не знал, что она про Стеньку Разина, про сон атаманский вещей, и уже точно не знал старший политрук, отчего так на Руси православной, что теперь уже и на советской отзывается, она в душах народных замахом лихим казачьей сабли и в ту же пору той самой тоской смертной, от которой и не уйти никуда, не ускакать по степям бескрайним, не уплыть по рекам великим, не зарыться в снега сибирские белые... Не знал старший политрук Пустельга, но, как и весь народ, чувствовал. И не надо было ему этого тревожного, щемящего чувства объяснять. Вот упало оно скупой слезой на дно окопа, а душа уже рванулась вслед за хором новым куплетом:

Налетели ветры злые
Со восточной стороны.
Ой, да сорвали черну шапку
С моей буйной головы.

Налетели и «шарманщики-юнкеры» как раз к этому куплету. Да уже не могли «ревуны» их смутить или перекрыть сиренами своими солдатскую песню. От души бомбили, смешивая степную землю с солдатской плотью, все дрожало вокруг и солнце в небе, но песня звучала. И потому, как уменьшался строй голосов, мог бы определить политрук потери, но не суждено ему было. Когда пошли танки, а следом засемила пехота, высунулся Пустельга с биноклем, и второй раз немецкий снайпер не промахнулся...

Снайпер не промахнулся, а песня продолжала звучать. В песню снайпер попасть не мог.

А есаул догадлив был —
Он сумел сон мой разгадать.
«Ох, пропадет, — он говорил, —
Твоя буйна голова».

И с какой отяжкой, с каким надрывом тянулось навстречу врагу «Ох, пропадет, — он говори-и-и-л...» И пропадали одна за другой. Пока еще звучал бас Рябова, перебивал его командами противотанковым расчетам лейтенант Белозерцев, и уже не пел-тянул, а просто кричал «а-а-а» навстречу врагу Гизатуллин, один из оставшихся в живых мусульман...

И душа старшего политрука Пустельги, отлетая в небо, трепетала вместе с голосами, трепетала, как птица в полете, от которой досталась ему фамилия, но уже видела в зареве заката далекую Победу. Да и могло ли быть иначе, если отозвалось вдруг последней надеждой рябовское «да воскреснет Бог!..»

Бой. Сколько он длится? Никто не знает. Часы во время боя измеряют что-то другое. Это где-то у карты генерал может измерять время: когда и кому вступить в этот бой, а для тех, кто находится в самой его гуще, в самой мясорубке, время идет по-другому. Вот уж где оно точно сливается с пространством, вот уж где не работают никакие законы физики, и время то замирает, то несется перебежками, как боец, то тянется как длинная нота «ревуна», зашедшего над твоей головой в пике... Не измерить в бою времени. Если и измеряется оно чем, так это ударами сердца. Да и то неровно. И состоит такое время из мгновений длиною полета пули. Мгновениями, которые кончаются то точками, то многоточиями пулеметных очередей, то паузами после взрывов. Но движение у них не линейное, а хаотичное, и никакое замедленное кино не сможет полностью расшифровать картину боя, потому как сжавшееся перед опасностью сердце не всегда отмерит следующий собственный удар. И вжавшийся в землю боец еще не знает, суждено ли ему поднять голову, но за это мгновение он переживает и передумывает столько, что потом не может и вспомнить. Если выживает. Помнятся только рывки тела и души, почти автоматические, машинальные, заученные, иногда спасительные, иногда отчаянные... потому что отступать уже некуда и в твоей груди разрывается точка твоего последнего мгновения. Во всяком случае, здесь. И нет плавной картины, все рывками, вспышками, клипами... Наверное, боевая выучка штука нужная, но тем, кто пережил бой последний, кажется, что победила отнюдь не она, а неизбежное отчаяние, принимаемое как вера в свою правоту, отчаяние, которое со стороны называют отвагой. И как правильнее сказать: отчаянный или отважный? Не скажет, пожалуй, никто. А неизбежное отчаяние оно сродни душевной песне.

А песня стихла... И бой стих.

Борька Соловьев осмотрелся сквозь слезы.

Никого. Это был не первый его бой, и этот не стал для него последним. Он привык видеть искореженные, изорванные взрывами тела, искаженные смертной болью лица. Но сейчас его товарищи словно уснули. Умерли, как пели. Вон Гизатуллин за пулеметом «Максим» просто уткнулся, задремал... А серьезный и вечно поучающий Петров просто присел на дно окопа отдохнуть... Вон старшина Рябов... Живой! Дышит! Плечо в крови, но живой!

— Товарищ старшина! — бросился к нему Борька.

— Тише, сынок, тише. Видишь, товарищи наши спят. Не буди... — из глаз Рябова тоже текли слезы. По глубоким, забитым степной землей морщинам. А седые волосы стали стальными. Отчего так? Серые глаза старшины смотрели куда-то далеко-далеко... И не поймешь: то ли в прошлое, то ли в будущее, то ли совсем в другой мир. Смотрели и беззвучно плакали.

— Я вас перевяжу... — Борька помог ему сесть, опереться на неровную стенку окопного рва. Свои слезы он размазал по всему лицу, и ему было легче — он не один. Нащупал индивидуальный пакет, приложил к ране старшины.

— Есть еще кто? Пробеги вдоль, глянь. Только пригнись, снайпер-то не спит... — прошептал старшина. — Так хорошо пели. В жизни так не пел, как перед смертью. Господи прости... Ну иди же...

Борька буквой «г» ринулся вдоль окопа. Ринулся в командирский блиндаж, где до боя лежали тяжелораненые, но блиндажа не было... Прямое попадание авиабомбы. Только бревна торчали во все стороны. И кругом мертвые товарищи. Противотанковый расчет... В обнимку... Лейтенант Белозерцев сам у второго разбитого взрывом пулемета... Рот открыт... Зачем? Он поет! Он поет, вдруг понял Борька и снова заплакал, не заплакал, зарыдал даже, вдруг закричал, запричитал. Нет, он не бился в истерике, не взывал к небу, никого не проклинал, просто сердце его переполнилось непрожитыми жизнями тех, кто еще минуту назад прикрывал его собой, как самого молодого. Переполнилось — и пролилось.

С трудом ему удалось себя успокоить. Он вернулся к старшине. Тот все понял по его глазам.

— Вдвоем, значит. Больше-то не удержим... все... — подытожил старшина.

— Так наши-то что... не придут? — удивился своему вопросу рядовой Соловьев.

Старшина не ответил. Он молча смотрел на небо.

— Ты вот что, сынок, помоги мне встать... — попросил Рябов.

— Так снайпер же?

— Помоги, Бориска. Надо.

Борька перечить не стал. Помог старшему товарищу подняться. Тот осмотрелся, шатаясь.

— Мне бы там встать, — старшина кивнул на бруствер.

— Зачем?..

— Ты прости меня, сынок. Не уберег я тебя. И уже не уберегу. Они все равно попрут. Перегруппируются и попрут. Они знают, что нас уже нет. А я вот посмотрел, патронов-то тоже нет... Так чего нам остается?

— Чего, товарищ старшина? Молиться?

— Пусть они, гады, молятся, — посмотрел в сторону врага Рябов, — а мы петь будем. Как нам политрук завещал. Понял?

— Понял...

— Сколько сможем, петь будем. Еще не вечер... — с победной угрозой Рябов смотрел туда, откуда целилась смерть.

Они стояли на бруствере окопа и пели... Маленький рядовой Соловьев подпирал собой качающуюся глыбу старшины Рябова. Они пели...

Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ох, да во сне привиделось...

Снайпер Гельмут Кунц разглядывал последних двух русских в прицел. И не стрелял. Эти двое снова пели, как совсем недавно пели их товарищи. К нему подполз лейтенант Хоффман.

— Почему ты не стреляешь, Гельмут?

— Они без оружия. Я не убиваю безоружных и сумасшедших.

— Что они горланят? Какой-нибудь большевистский гимн?

— Нет. Совсем нет.

— Ты думаешь, кроме этих никого не осталось?

— Уверен.

Хоффман хотел было уползти, дать команду к зачистке, но что-то его остановило.

— Знаешь, Гельмут... — он замер.

— Что, Генрих?

— В Европе я такого не видел...

— Я тоже...

— Эти варвары... они такие стойкие.

— Я не понимаю, о чем они поют, Генрих, но мне кажется, у варваров не может быть таких песен. Да и умирают, словно римские legionеры или гладиаторы.

— Да они слов таких не знают!

— Может, и не знают, но только умирать с честью умеют.

— Ты не будешь стрелять?

— Нет. Зачем? Старому осталось жить всего ничего.

— Думаешь, они не будут сдаваться?

— Уверен. Можешь выстрелить по ним из гаубицы...

* * *

11 мая 1945 года старшину Соловьева все-таки отпустили к рейхстагу, которого он еще не видел. Повезло же кому-то штурмовать центр, знамена поднимать. Поджарый, небольшого роста Соловьев bravо вышагивал среди руин, козыряя старшим по званию, позвякивая орденами и медалями на груди. В руке у него была банка с краской и кисть, в голове — пожелания от всего полка. В сущности, пожелания сводились к тому, чтобы найти на стенах свободное место для названия части, проделавшей путь от Сталинграда до Берлина. И так и написать: пришли, мол, от самого Сталинграда. Так старшина и написал, взобравшись на позаимствованную у артиллеристов стремянку. Таких «писателей» вокруг оказалось много.

— Думаешь, сохранится? — спросил, кивая на краску, танкист-сержант, царапая по камню отверткой свою фамилию.

— Так это их краска. Надежная. — Соловьев прикусил губу. Он как раз старательно выводил букву «с» и раздумывал, что сначала написать — «старшина» или «Соловьев». И город родной указать или нет. Но тут вдруг услышал где-то совсем недалеко гармонь. Группа бойцов вдруг затянула совсем не победную, но такую родную «Ой, то не вечер»... Старшина Соловьев уперся лбом в стену рейхстага, на глаза, не спросив, навернулись слезы. Все вдруг притихли, перестали увековечивать себя и своих товарищей, кто-то начал подпевать. И пока бойцы пели, старшина Соловьев стоял и слышал совсем другие голоса. Он отвык стесняться слез, но сейчас не хотел, чтобы кто-то его видел в таком состоянии. Песня в этот день звучала совсем по-другому... Для них, для тех, кто остался жить.

Скрипнув зубами, Борис Соловьев, приписал слева от буквы «с», буквы «п» и «у», а с другой стороны — «тельга», потом подумал и добавил: «старшина Рябов. 1942 г. Сталинград».

Спустился со стремянки, внимательно осмотрел свое творчество. Ему пора было идти, было еще много дел. Мирных дел. Еще не вечер, в конце концов... Сегодня ему еще предстояло накормить кашей и хлебом Эльзу Кунц, жену снайпера Гельмута Кунца, и двух их детей. Но об этом старшина Соловьев ничего не знал...